

## ЛАГЕРЬ И ВОЙНА...

Лагерь и война...	
<i>История побежденных от Варлама Шаламова . . . .</i>	5
Интеллигенция и народная ярость	
<i>К столетию «Вех» . . . . .</i>	16
Русский шибболет . . . . .	21

РЫКЛИН Михаил  
ЛАГЕРЬ И ВОЙНА...

*For presentational & educational purposes only*  
(серия [letterra.org](http://letterra.org): 012)

## ЛАГЕРЬ И ВОЙНА...

*История побежденных от Варлама Шаламова*

В сборнике «Артист лопаты» есть два рассказа, следующих один за другим, «Май» и «Июнь». Почему, недоумевая, сначала «Июнь», а потом «Май», – ведь в природе все наоборот?

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, победа в которой до сих пор считается звездным часом сталинской империи, величайшим событием советской истории. День Победы празднуется 9 мая. «Июнь» предшествует «Маю» потому, что война началась в июне, а закончилась в мае.

В этих рассказах – на первый взгляд непримечательных, а на самом деле фундаментальных для всего его творчества – Варлам Тихонович Шаламов впервые в русской литературе подает войну сквозь призму опыта лагерного доходяги.

Фабула, как всегда у писателя, незамысловата. Андреев, «фитиль», человек, страдающий от систематического недоедания и непосильного физического труда, встречает десятника, бывшего профессора артиллерийской академии, который сообщает ему о начале войны:

«Слушайте, – сказал Ступицкий, – немцы бомбили Севастополь, Киев, Одессу»

Андреев вежливо выслушал. Сообщение звучало, как известие о войне в Парагвае или в Боливии. Какое до этого дело Андрееву? Ступицкий сыт, он десятник, вот его и интересуют такие вещи, как война.<sup>1</sup>

А в рассказе «Май» тот же Андреев обменивает на хлеб пропитанную порохом мешковину; делает себе из нее портянки (он изможден, ему надо попасть в больницу, чтобы выжить); садится в них у костра; портянки вспыхивают. Получившего ожоги заключенного доставляют в больничную палату.

«К вечеру в палату вошел врач. «Слышь вы, господа каторжане, – сказал он, – война кончилась. Неделю назад кончилась. Второй курьер из управления пришел. А первого курьера, говорят, беглецы убили».

Но Андреев не слушал врача. У него поднималась температура».<sup>2</sup>

О величайшем дне в советской истории, дне Победы, на колымском прииске узнают с недельным опозданием, а, главное, Андреева – а это имя собственное концентрирует опыт сотен тысяч лагерников, из которых лишь немногие вернулись живыми, – ни начало, ни конец великой войны, стоившей жизни миллионам его соотечественников не интересуют. Им владеет «великое безразличие». У Андреева есть дела поважнее: достать хлеб, купить мешковину, отдохнуть на больничной койке от убивающего лагерного труда. Воздействие войны обитатели лагерного дна заметили разве что по устроению режима, увеличению норм выработки («кубиков», на лагерном жаргоне) и сокращению и так скудной пайки.

\*\*\*

История (в этом нельзя не согласиться с Вальтером Беньямином) – это история победителей, по крайней мере это история, написанная от имени победителей. Делом жизни Шаламова было написание истории побежденных. Так радикально историческую оптику ни до, ни после него никто не менял. Не лагеря, как до сих пор считают в России многие, являлись частью сталинского «мобилизационного проекта», целью которого была победа над фашизмом (а великая цель, конечно, оправдывает любые средства), а война «играет роль психологического камуфляжа» по отношению к куда более сущностной лагерной теме или, более широко, к теме «уничтожения человека с помощью государства». В этом пункте писатель был непреклонен. «Лагерная тема в широком ее толковании, в ее принципиальном понимании – это – писал он в своем манифесте «О прозе» (1965), – основной, главный вопрос наших дней. Разве уничтожение человека с помощью государства – не главный вопрос нашего времени, нашей морали, вошедший в психологию каждой семьи? Этот вопрос много важнее темы войны. Война в каком-то смысле тут играет роль психологического камуфляжа (история говорит, что во время войны тиран сближается

с народом). За статистикой войны... хотят скрыть лагерную тему».<sup>3</sup>

Нетрудно заметить, что в оптике побежденных конвейер по уничтожению людей, без которого нельзя было бы осуществить проект создания «нового человека», не только исторически, но и логически, по своему значению, предшествует войне. Война камуфлирует то, что является более существенным, «отмывая» лагерную тему, заставляя её представлять орудием исторической необходимости, неизбежным этапом подготовки к войне. О том, насколько актуальной и неприемлемой остается шаламовская оптика, его набросок истории побежденных, можно судить по тому, что при президенте Медведеве «фальсификациями истории, вредящими интересам России», с мая 2009 года занимается специальная комиссия, в состав которой входят не только историки, но и высокопоставленные военные, полицейские чины, представители спецслужб. В центре ее внимания – защита от «антироссийских фальсификаций» победы советского народа в Великой Отечественной войне. Не исключено, что за высказывания, подобные процитированному выше, в скором времени (по крайней мере об этом предупреждают кремлевские политтехнологи) станет возможным привлекать к уголовной ответственности. И в современной России жертвы сталинского террора, от имени которых писал автор «Артиста лопаты» и «Очерков преступного мира», по сути лишены права голоса – за них по-прежнему говорят победители, обрекающие на немоту сотни тысяч лагерных доходяг.

Иностранцы часто удивляются: почему, вы, русские, говорите о войне так, как если она кончилась вчера, а не стала достоянием истории прошлого века?

Ответ прост: событие Победы не станет историей до тех пор, пока российская власть – какой бы «капиталистической» не провозглашала она себя на словах – в целях собственной легитимации не перестанет нуждаться в режиме, сначала создавшем ГУЛАГ, а потом ценой беспрецедентных жертв выигравшем войну.

\*\*\*

И «Артист лопаты», и «Очерки преступного мира» – книги о морали, точнее, о неизбежном распаде морали в условиях лагеря. Вольнонаемный инженер бьет заключенных, интеллигент становится «романистом» у блатных, бри-

гадир палкой выбивает план из измученных людей. Лагерь подобен катку, разравнивающему пространство тоталитарной власти, уничтожающему все различия (национальные, сословные, классовые, образовательные). В предлагаемых читателю текстах неизгладимо запечатлелось кредо писателя: лагерь – школа абсолютной негативности, опыт, о котором не надо знать человеку.

Но парадоксальным образом Шаламов посвятил литературному освоению этого непродуктивного, стерильного, казалось бы, никому ненужного лагерного опыта свою жизнь.

И это не единственная загадка его творчества.

На периферии почти всех лагерных рассказов писателя гнездятся существа с наколками на теле, говорящие на особом языке, окруженные сторонниками, готовыми беспрекословно выполнить любой их приказ. Они, члены «проклятого ордена», сами не работают, обворовывают и грабят (в основном руками своих подручных) других заключенных, играют в карты до полного проигрыша одного из противников, принципиально не подчиняются требованиям администрации.

Именно они, эти «не-люди», навязывают лагерю свой закон; именно их больше всего ненавидит наш автор. Писатель видел искру человечности в последнем звере из лагерного начальства, обслуги или охраны, в самом жестоком бригадире, нарядчике, дежурном по барaku. Единственные, кому он упорно в ней отказывал – блатные, воры в законе, «жуки-куки», «люди», «паханы», «авторитеты». В ненависти Шаламова к блатному миру было что-то религиозное, при соприкосновении с блатными в нем, далеком от христианской религии человеке, оживал непримиримый дух протопопа Аввакума. Последние слова «Очерков» звучат как набат, как заклинание: «Карфаген должен быть разрушен! Блатной мир должен быть уничтожен!»

Члены «проклятого ордена», не уставал повторять Шаламов, – не просто преступники. Само по себе совершенные преступления еще не делает «оступившегося человека» «настоящим вором». И медвежатник, вскрывающий хитроумные сейфы, вовсе не обязательно блатной. Для принадлежности к «ордену», чтобы быть его признанным, полноправным членом нужно прежде всего проводить в жизнь, толковать и применять к изменяющимся обстоятельствам особый воровской закон. Писатель ненавидит в блатных не столько преступников (для обычных преступников он находит слово понимания), сколько носителей антисоци-

ального закона, распространяющего свою власть на лагерную жизнь, пронизывающего ее снизу доверху. В мире блатных преступление качественно преобразуется, получает «теоретическое» обоснование, находит свой собственный закон. Член «подпольного ордена» перестает быть просто «оступившимся человеком»; вступив в воровской закон, он навсегда перерезает связи с обществом. Это и делает его в глазах автора «Очерков» не-человеком. Служитель даже самого извращенного социального закона (а сталинский закон был таковым в высшей мере) все-таки остается человеком, носитель же асоциального закона бесповоротно теряет эту привилегию. Развращенность такого существа запредельна воображению обычного человека, в том числе «оступившегося» преступника (в доказательство писатель ссылается на распространенные в блатной среде педофилию, зоофилию, презрение к женщине, а также на зверские ритуалы наказания отступников).

Здесь мы подходим к главному парадоксу этой книги.

Шаламов упрекает русскую литературу в лице Достоевского, Чехова, Горького в том, что она «отшатнулась» от этой болезненной темы, от ужасного лика блатного мира. В то же время он не исключает, что в их время этого человеческого типа просто не существовало. Но если это так, ставить в упрек дореволюционной литературе отсутствие интереса к «проклятому ордену» все равно, что упрекать Гомера за то, что в Илиаде нет описания закусовых «Мак-Дональдс», компьютеров, танков и космического кораблей.

С одной стороны, автор «Очерков» считает «подземный мир» блатных очень древним («Этот мир существовал всегда...»<sup>4</sup>, «История уголовщины, насчитывающая множество тысячелетий...»<sup>5</sup>, «с гутенберговских времен...»<sup>6</sup>). С другой же, он не приводит ни одного доказательства этой древности.

Допустить, что социальный закон сталинского времени не просто укреплял воровской закон, но *впервые делал его в таком виде возможным*, что мощь асоциального закона была частью социального запроса Варлам Тихонович Шаламов не мог. Он еще связывал человеческую нравственность с социальным законом. Несмотря на пережитые им нечеловеческие страдания, автор «Очерков» – моральный – и в этом смысле «ветхий», традиционный – человек, не постигающий до конца криминальной глубины самого сталинского мира, из которой рождается привилегированный статус блатных внутри лагеря. Утверждая идеи «пере-

ковки» и социальной близости блатных, юстиция и литература того времени вовсе не заблуждались – «проклятый орден» действительно был ближе новой атеистической власти, чем более традиционные человеческие типы, из которых еще предстояло выковывать «нового человека». Блатные из подлежащих перевоспитанию преступников стали союзниками нового закона. Именно их руками, не раз повторяет Шаламов, НКВД расправилось в 1938 году с «троцкистами», последней организованной оппозицией сталинскому режиму.

Другими словами, свой мандат на господство над лагерным миром блатные получили от сталинской власти, объявившей их «социально-близкими». В лице воров в законе перед нами маячит не нечто древнее, чуть ли ни изначальное: они – уникальный феномен советского времени, аналогов которому мы не находим ни за рубежом, ни в дореволюционной России. Он связан с той формой, которую Террор принял в результате «раскулачивания», «второй, сталинской революции». Раскулаченные крестьяне не просто пополняют ряды блатных, о чем пишет Шаламов, – форсированная урбанизация, жертвами и одновременно агентами которой они являются, создает фон, на котором асоциальный воровской закон впервые приобретает отсутствующие у него ранее черты всеобщности. Он распространяет свое влияние не только на лагерь, но и на «замордованную», по выражению Солженицына, волю. Читая «Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона»<sup>7</sup>, любой воспитанный в советское время человек (в том числе никогда не сидевший за решеткой) может без труда убедиться: многие слова воровского языка («блатной фени», «блатной музыки») для него в переводе не нуждаются. «Шмон», «малина», «параша», «шалава», «фармазон», «фрайер», «стучать», «отбивать понт», «фарцевать», «загудеть» – эти и подобные им слова он слышал, читал, а иногда (например, в армии, в компании друзей) и употреблял. Смысл их ему во всяком случае объяснять не надо. Конечно, это не делает каждого советского человека блатным, но «капля жульнической крови», о которой с ненавистью писал автор «Колымских рассказов», была не только у членов «проклятого ордена» и их окружения: она была у врачей, у следователей, писателей, военных, рабочих, крестьян, профессоров, членов ЦК и Политбюро, мужчин, женщин, детей. Блатная романтика вошла в плоть и кровь советского человека.

Лагерный опыт излечил Шаламова от преклонения перед народом. В этом плане его разногласие с Солженицыным принципиально и неразрешимо. Создатель «Колымских рассказов» остался поклонником послереволюционной культуры 20-х годов, времени, когда он и его друзья (многие из которых действительно были троцкистами; почти никто из них не выжил) верили в возможность радикального изменения мира. И тем сильнее он ненавидел сталинизм, раздавивший революционный эксперимент, уничтоживший или поработивший всех его ведущих представителей. Там, где автору «Архипелага ГУЛАГ» видится простое крещендо большевистского насилия, его более пострадавший собрат по перу усматривает две разные, непримиримо противостоявшие друг другу культуры. Национализм Солженицына примирил его со своим временем; революционный романтизм Шаламова его с ним развел. До сих пор для российского читателя, пожалуй, нет автора более трудного при кажущейся прозрачности написанного, чем Варлам Шаламов.

Великая Отечественная война не играет в «Очерках преступного мира» особой роли. Она упоминается почти исключительно в связи с другой войной, потрясшей ГУЛАГ в последние годы правления Сталина. В отличие от «политических» (я беру это слово в кавычки потому, что осужденные по знаменитой 58-ой статье в массе своей не были противниками режима; обвинения против них были сфабрикованы следствием), которым категорически отказали в отправке на фронт, блатные – часто против своей воли, под дулами автоматов – были призваны в армию и приняли в войне активное участие. А когда после войны они возвратились к своему ремеслу, взялись за старое и снова оказались в лагере, бывшие товарищи отказались принять «военщину» в свои ряды. Воевавшие, звучал вердикт воровских «правил», нарушили закон, взяли в руки оружие, подчинились приказу государства. Настоящий вор, напомнили им, должен уметь соблюсти закон в любых условиях.

Объявленные предателями («суками»), исключенные из воровской среды, вчерашние фронтовики объявили «законникам» войну не на жизнь, а на смерть. Они заверили лагерное начальство, что «перековались» и будут сотрудничать с ним.

Но на уме у них было совсем другое. В 1941 году их самих за отказ служить в армии наверняка расстреляли бы по закону военного времени. Так пусть же теперь их обвинители,



блюстители воровского закона, попробуют устоять под лезвием приставленного к их горлу ножа! Началась «сучья война», повлекшая огромные жертвы с обеих сторон. Писатель, после войны работавший фельдшером в лагерной больнице, мог наблюдать ее последствия своими глазами: воров и «сук» никогда не клали в одну палату, а потом и в одну больницу – иначе они перерезали бы друг друга.

Если вчитаться в «Очерки» повнимательней, отношение Шаламова к блатным на поверку оказывается не столь однозначным. Блатные не только жили в лагере за счет других (более сытно ели, лучше одевались), но и «отличались определенной твердостью взглядов и завидным разудалым, бесстрашным поведением»<sup>8</sup>. Они были единственной сплоченной группой, чьи лидеры («законники», «паханы») пользовались безусловным авторитетом. И это волей-неволей заставляло уважать «не-людей». Именно по отношению к блатным из-под пера писателя как бы невольно вырываются слова «аристократия», «голубая кровь», «принцы жульнической крови». Видимо, готовность блатных жертвовать жизнью – пусть во имя того, что писателем яростно отвергается и проклинается – на фоне всеобщего порабощения обладала даже в глазах Шаламова определенным потенциалом соблазнения. Думаю, не только вчерашний крестьянин или сломленный голодом интеллигент начинал видеть в них «носителей лагерной правды»<sup>9</sup>.

«Карфаген» так и не был разрушен. Хотя со времени, когда писались «Очерки преступного мира», прошло пятьдесят лет, ненавидимый Шаламовым блатной мир не ушел в прошлое; напротив, он распространился далеко за пределы тюрьмы и лагеря, став частью социальной нормы. Его короли, воров в законы, которых можно опознать по татуировкам на их теле (трефовая или пиковая масть, орлиные крылья, корона и т. д.), до сих пор контролируют в России бизнес, решают экономические споры, не чужда им и политическая сфера, в которой они имеют своих представителей<sup>10</sup>.

\*\*\*

Ничего похожего на «проклятый орден» мы не находим в нацистских концлагерях. Там профессиональные преступники, опознавательным знаком которых был зеленый треугольник, также пользовались благосклонностью СС. Но это

были обычные рецидивисты, организованные значительно хуже политических заключенных (прежде всего социал-демократов и коммунистов)<sup>11</sup>. В отличие от политических, они часто предавали друг друга; в этом их сдерживало, пишет Пауль Мартин Нойрат, прошедший Дахау и Бухенвальд, только одно – опасение мести со стороны товарищей<sup>12</sup>.

Портрет «колымского мученика» в исполнении Шаламова чем-то напоминает набросок душевного состояния узника Освенцима, оставленный Примо Леви. «konkret sind Hunger und Trostlosigkeit; alles übrige ist irreal...»<sup>13</sup> „Im Lager ist das Denken unnütz, denn die Geschehnisse treten zumeist in unvorhergesehener Weise ein; und zudem es ist schädlich, denn es enthält eine Sensibilität, die ein Quell des Schmerzes ist und die irgendein vorsorgliches Naturgesetz stumpf macht, sobald das Leiden ein bestimmtes Maß überschreitet».<sup>14</sup> Из-под пера автора «Колымских рассказов» также вышло немало подобных фраз.

Но в одном он расходился с Леви, для которого «не-людьми» являются *все* обитатели лагерного мира. Когда он пишет «Die hier beschriebene Personen sind keine Menschen»<sup>15</sup>, это распространяется не только на носителей зеленого треугольника. Неслучайно итальянский автор назвал свою (во многом автобиографическую) книгу «Человек ли это?» – в описываемом им мире человеком не дано остаться никому. Проявления человечности в концлагерном универсуме – чудо, необъяснимое из созданных там условий.

\*\*\*

Наиболее душераздирающим в цикле «Артист лопаты» является, на мой взгляд, единственный рассказ, не имеющий прямого отношения ни к чистилищу Вишеры, ни к колымскому аду, через которые прошел Варлам Шаламов. Он написан в том же 1959 году, что и «Очерки преступного мира», и называется «Крест». Слепой священник каждое утро ходит доить коз, утешая себя мыслью, что помогает семье. Его жена знает: подорожавшие корма и налоги на мелких животных делают это занятие убыточным, но не решается сказать об этом мужу, привыкшему быть кормильцем большой семьи. Бедная больная женщина выбивается из сил, чтобы прокормить себя и мужа. Старший сын, в духе времени, публично отрекается от отца-священника, чтобы «очиститься» в глазах атеистической власти от чуждого «социального происхождения»; дочери

живут в нищете; младший сын сначала высылает из Москвы немного денег, «но вскоре за участие в подпольном митинге он был арестован и выслан, и след его затерялся».<sup>16</sup>

И вот все продано, в это утро не на что купить корм козам. Священник приказывает жене принести единственную оставшуюся ценность, золотой «наперстный крест с маленькой скульптурной фигуркой Иисуса Христа»<sup>17</sup>. На глазах сначала зарывавшей, а потом онемевшей от горя жены слепой разрубает крест на куски со словами «Разве в этом бог?» Женщина складывает куски в коробку. семье какое-то время будет на что жить.

В основе текста – биографическое повествование. Прототипы слепого священника и его жены – родители Варлама Тихоновича Шаламова. Младший сын, след которого теряется после ареста, – сам писатель. Золотым крестом вологодского священника Тихона Шаламова наградили за многолетнюю миссионерскую работу на Аляске.

Прямого отношения этот текст к ужасам Колымы, казалось бы, не имеет, его действие относится к началу 30-х годов (слепой священник умер в 1933 году, его жена – 1934 году, еще до начала Большого Террора). Но в каждой строке рассказа уже дает о себе знать та бесчеловечная, сметающая все моральные препятствия сила, из которой вскоре возникнут и массовые репрессии, и концлагеря, и зверства лагерного начальства, и непререкаемая власть блатных над лагерным населением. В отчаянии от непроходимой нищеты разрубающий крест слепой священник, превращение фигурки Христа под ударами его топора в куски золота, – как нагляднее можно передать разрыв с миром, где еще правило трансцендентное, божественное начало!

Императив Шаламова-писателя ясен: где уже нельзя спасти Бога, нужно тем бережнее хранить след его присутствия, то, что от него осталось – человеческую мораль.

Истоки стоической приверженности писателя нравственному закону в невыносимых условиях Колымы, корни его страстной, непримиримой вражды к блатному миру нужно искать именно здесь, в истории его семьи, в богоборческом жесте отчаявшегося отца.

*Москва-Берлин, сентябрь-октябрь 2009 г.*

## Примечания

- 1 Варлам Шаламов. Собрание сочинений, М., Терра-Книжный клуб, 2004, том первый, с. 551
- 2 там же, с. 563
- 3 Warlam Schalamow. Über Prosa, Berlin, Mathes und Seitz, 2009, S. 30
- 4 Варлам Шаламов. Собрание сочинений...том второй, с. 38
- 5 там же, с. 77
- 6 там же, с. 11
- 7 Смотри, например: Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона. Речевой и графический портрет советской тюрьмы. М., «Края Москвы», 1992.
- 8 Варлам Шаламов. Собрание сочинений... том второй, 27
- 9 там же
- 10 См., например: «Воры в законе» на госслужбе – «Новая газета», 17.09.2001
- 11 Wolfgang Sofsky. Die Ordnung des Terrors: das Konzentrationslager, Fr.-am-Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 2004, S. 141 etc.
- 12 Paul Martin Neurath. Die Gesellschaft des Terrors. Innenansichten der Konzentrationslager Dachau und Buchenwald. Fr.-am-Main, Suhrkamp, 2004. Нойрат пишет: „ Als die Lagerleitung ihr System von Blockältesten und Arbeitskapo einführte, nahmen sie dafür als Erstes die politische Häftlinge, weil diese sich bereits auskannten. Die ganze mit diesen Positionen verbundene Macht kam so in die Hände der Politischen. Sie entwickelten sich auch rasch zur moralische Elite des Lagers. Sie beherrschten die übrige Häftlinge sowohl aufgrund ihrer Zahl als auch aufgrund ihrer besseren Organisation« (S. 90). Подобный статус политзаключенных – вещь в сталинских лагерях совершенно невозможная. Положение осужденных по 58 статье, особенно «троцкистов» (а у Шаламова вначале лагерного срока была именно эта статья) напоминало скорее положение евреев в нацистских лагерях. Они были обречены на общие работы, что для большинства означало скорую смерть. Организованы они были значительно хуже блатных.
- 13 Primo Levi. Ist das ein Mensch? Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1999, S. 141
- 14 *ibid.*, S. 205
- 15 *ibid.*, S. 147
- 16 Варлам Шаламов. Собрание сочинений, том первый...с. 486
- 17 там же., с. 488

## ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И НАРОДНАЯ ЯРОСТЬ

*К столетию «Вех»*

Этот небольшой сборник восхваляли Василий Розанов и Андрей Белый, зато разносили Дмитрий Мережковский и Владимир Ленин... Им восхищался Александр Солженицын, но многие российские демократы продолжают считать его авторов ренегатами.

«Вехи», увидевшие свет в 1909 году, никого не оставили равнодушным, да и сейчас накал вызываемых ими страстей – если судить по тому, как в России был отпразднован их столетний юбилей – остается высоким.

«Вехи» посвящены осмыслению роли, которую интеллигенция России сыграла во время революционных событий 1905 года. Она видится участникам сборника крайне деструктивной. Авторы – в недавнем прошлом сами марксисты, кадеты и социал-демократы (среди них выделяются Николай Бердяев, Семен Франк, Глеб Струве и отец Сергей Булгаков) – резко нападают на своих вчерашних товарищей, предупреждая о катастрофических последствиях, к которым неизбежно приведет следующая русская революция. Они упрекают интеллигенцию в нигилизме, пренебрежении культурой, безрелигиозности и утверждают, что «единственной творческой силой человеческого бытия» является «внутренняя жизнь личности», а не «самодовлеющие начала политического порядка», другими словами, не революционное изменение внешних условий жизни.

Роль интеллигенции в революционных событиях «веховцы» явно переоценивают. Проигранная русско-японская война, «кровавое воскресенье», погромы, инициированные сотрудниками полиции, крайне консервативная, нереформированная церковь, слившаяся с государством, благословляющая от его имени любые эксцессы, – всё это и многое другое вызвало тогда недовольство далеко не одной интел-

лигенции. Если бы в «Вехах» эти явления были критически проанализированы, убедительней смотрелась и страстная полемика авторов с интеллигенцией. Но и царизм, и церковь, и полиция рисуются критикам интеллигенции институтами, стоящими на защите традиции и «духовной жизни» и нуждающимися в безусловной защите от революционных (а по сути демократических) посягательств. Поэтому им не остается ничего иного, как сделать интеллигенцию козлом отпущения не только за ее собственные (а они, конечно, были) грехи, но и за куда худшие прегрешения и изъяны российской имперской власти.

В результате под пером семи авторов, объединившихся для написания «Вех», интеллигенция неправдоподобно – до карикатуры, до гротеска! – демонизируется, а существующие между разными группами различия (а они – например, между большевиками и кадетами – были огромны) в расчет не принимаются. Под видом «духовности», традиции, религиозности под защиту в очередной раз берется наличное положение дел, с которым значительная часть общества в то время была уже мириться не согласна.

Не будучи осмысленным и признанным, политическое расхождение приобретает форму религиозного противостояния. Так, Семену Франку русский интеллигент видится членом религиозного ордена, «воинствующим монахом нигилистической религии земного благополучия... С аскетической суровостью к себе и к другим... этот монашеский орден трудится над удовлетворением земных, «слишком человеческих» забот о хлебе насущном».

Вряд ли подобное презрение к «хлебу насущному» разделяли тогдашние российские рабочие и крестьяне; и едва ли борьбу за него можно отделить от борьбы за духовное достоинство человека, а тем более ей противопоставить. Аскетизм – добродетель всех зарождающихся религий; ссылкой на «аскетическую суровость» их сторонников нельзя дискредитировать, скорее наоборот: подобный упрек звучит как комплимент.

Поэтому стоит согласиться с Мережковским, писавшим по поводу «Вех»: их авторы оказали традиционной религии (православию) медвежью услугу, доказав от противного, «что, несмотря на безбожие русского освобождения, есть у него тайный религиозный смысл... освобождение, если еще не есть, то будет религией: и религия, если еще не есть, то будет освобождением».<sup>1</sup>

В одном «веховцы» были оригинальны. Русских «народников» (зачинателей революционного движения) и «почвенников» (консервативных сторонников «русской идеи» в понимании Достоевского), несмотря на все различия, объединяло преклонение перед идеализированным русским народом. «Вехи» же не просто атакуют демократическую интеллигенцию – они порывают с общим ей и консерваторам народопоклонством, призывая видеть в народе (подразумевается: в народе, как он проявил себя в ходе революции 1905 года) опасную, дикую стихию, совладать с которой (как они – теперь мы знаем ошибочно – полагали) под силу только царскому полицейскому государству.

Полемически резко этот тезис сформулировал Михаил Гершензон: «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, – бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной». Автор этих слов – еврей, их следует понимать как реакцию на погромы, причем реакцию паническую, искажающую причины случившегося. Разве власть «своими штыками и тюрьмами» защищала евреев от «народной ярости»? Разве не ее агенты эту ярость подогревали и направляли в нужное русло?

100-летию «Вех» посвящен номер «Русского журнала». – околоремлевского издания, возглавляемого политтехнологом Глебом Павловским и объединяющего вокруг себя идеологов «оперативной» (опирающейся на методы спецслужб) власти, окончательно сформировавшейся при президентстве Путина.

Основной упор эта команда делает на предупреждении Гершензона, обращая его нынешней демократической интеллигенции России. «Смотрите, не играйте с огнем, – подхватывают тезис Гершензона новые «веховцы», – народ дик, и если штыки и тюрьмы действующей власти не будут вас от него охранять, он вас разорвет. Нападая на власть, требуя ее смены, вы лишите себя права на защиту и в конце концов останетесь наедине с обезумевшей толпой».

Павловский идет дальше, утверждая: антинародничество «веховцев» якобы спасло Россию от фашизма, предотвратило «нацизацию русской мысли, намеченную любонародием начала XX века». <sup>2</sup> Но, в отличие от «полицейского социализма», разыгрывавшего шовинистическую карту, демократическое народничество никакого отношения

к фашизму не имело, более того, именно его наследник, пролетарский интернационализм Октябрьской революции, в значительной мере урезанный Сталиным, позволил СССР в 30-е годы XX века быть – или по крайней мере слыть – оплотом антифашизма. Заключенный 23 августа 1939 года пакт Гитлера-Сталина положил конец этим упованиям.

«Веховцы» же благословили ту самую власть, ту полицию и ту церковь, которые превращали народ в бестию (так что от нее потом приходилось защищаться тюрьмами и штыками). Фашизоидные, черносотенные элементы содержались прежде всего в самой этой власти, и уже от нее передавались определенной части народа. Поэтому позиция авторов «Вех», как и позиция их нынешних последователей (многие политтехнологи тоже начинали как правозащитники и демократы), непоследовательна: они яростно обвиняют следствие и не менее страстно защищают причину.

Современные идеологи заходят дальше «веховцев». Выполняя полицейские функции в сфере духа, они сами создают ситуацию, которой пугают других. Они выпустили джина национализма из бутылки в надежде, что он им подконтролен и в нужный момент им удастся его туда обратно загнать. Но, возможно, в какой-то момент джин окажется более нужным их хозяевам, так называемым «силовикам», чем сами политтехнологи, и тогда выяснится: бояться его следовало не только тем, кого им запугивали.

Сотрудники «Русского журнала» обратились к западным, в основном консервативным, политологам с вопросом о том, какую роль играет в их странах гуманитарная интеллигенция, чтобы с удовлетворением констатировать: роль эта является весьма скромной, незначительной в политическом плане. Фигур типа Сартра и Рассела, чье влияние выходило за пределы интеллектуальной среды, в современном мире не просматривается. В основном наследниками их являются профессора, занимающиеся на кампусах университетов вещами, которые за их пределами мало кого интересуют.

Но больше всего меня умилила статья одного профессора института пограничных войск при ФСБ, посвященная столетнему юбилею «Вех». Автор объявляет сборник эпохальным, пророческим, предвосхитившим будущее России. Особенно его вдохновляет идеал усовершенствования «человека внутреннего», которого, по его словам, без исторической царской власти и тысячелетней истории правосла-



вия, а также без искупления «страшного греха 1917 года», русскому народу не достичь.

Но ведь ФСБ – удивился я, читая эти строки, – является наследницей революционной политической полиции, и от этого наследия никогда, насколько мне известно, не отрекалась; более того, она продолжает гордиться своим происхождением от «страшного греха 1917 года». Интересно, подумалось, что этот поклонник царской власти (а их сейчас в России огромное количество) думает о таких фигурах, как Ягода, Ежов, Берия, Андропов? Легко предавать анафеме Ленина с Троцким, да Милюкова с Керенским – их в путинской России не обругивает и не пинает только ленивый, а вот как быть со Сталиным, этим «лучшим другом всех чекистов», как его титуловали во времена Большого Террора?

Из текста мы узнаем, что на долю Сталина «выпало закрытие утопического проекта». Другими словами, он сыграл исторически позитивную роль, подведя черту под ненавистным автору статьи наследием Октябрьской революции. Но тогда, приняв во внимание космические масштабы сталинского террора, следует признать: весь предшествующий революционный проект не стоил десятой части той крови, в какую обошлось его «закрытие». Значит проливать океаны крови способны не только революционеры, но и реакционеры.

Следовательно, хочется напомнить нынешним сторонникам «Вех», одной праведной ярости по поводу кровожадности радикальных преобразователей мира недостаточно – нужно обратить взгляд на себя...

### *Примечания*

1. Д. Мережковский. Семь смиренных – «Речь», №112, 26 апреля 1909 г.
2. Г. Павловский. Наша книга. – Русский журнал, выпуск №7 (21), 23 марта 2009 г.

## РУССКИЙ ШИББОЛЕТ

В 2004 году, когда десять новых государств вступили в Европейское сообщество, граница Европы вплотную приблизилась к российской. Многим она уже сейчас представляется новым «железным занавесом», отделяющим Европу от не-Европы, европейцев от не-европейцев не только визовым, но и культурным барьером.

В этом климате вновь звучат старые вопросы. Почему одни части бывшего СССР и Восточной Европы, входившие в советскую сферу влияния, принимаются в Европу (прошли тест на европейскость), а другие, в том числе и сама Россия, – нет? Какова природа новой границы? Почему одни отличия – пусть даже очень значительные – допускают интеграцию в единую Европу, а другие – нет? Что делает принципиальными эти последние, в отличие от первых? Существует ли специфически русский шибболет<sup>1</sup>, слово-пропуск, которое русские никогда произнести не смогут, тем самым закрыв себе путь в Европу? Есть ли признак, по которому россиянина можно уверенно опознать как не-европейца?

Прежде чем обратиться к этим вопросам, остановлюсь на истории русско-европейской границы, на уже пережитых ею метаморфозах. Читая «Мемуары» Казановы или «Письма русского путешественника» Карамзина, мы замечаем, что их авторы свободно перемещаются на едином пространстве от Парижа до Санкт-Петербурга, от Рима до Москвы; пересечение границы между Россией и Европой не фиксируется ими как нечто существенное и принципиальное. В XVIII веке считалось, что Европа находится там, где есть просвещенные люди, а в ставшей франкоязычной России таких людей было немало.

Автором «Вечной России», отличной от не менее «Вечной Европы», является маркиз де Кюстин. Его монументальное эпистолярное сочинение «Россия в 1839 году» увидело свет в Париже в 1843 году. Ему принадлежат знаменитые слова: «На что бы ни притязали русские после Петра Великого, за Вислой начинается Сибирь».<sup>2</sup> Т.е. Россия – это уже Азия, даже в своих наиболее западных районах. Но в другом письме говорится, что границей является московский Кремль, в третьем ей оказывается «бесчеловечный» климат России, ниспосланный в качестве наказания и т.д. и т.п. Другими словами, Кюстин неслучайно не мог сказать, где именно проходит эта граница: любое *названное* различие временно и устранимо, на нем не может основываться ничто вечное, в том числе и Россия. Любое из названных различий поддается интеграции в европейское пространство; оно ненадежно, в качестве границы на него нельзя полагаться. Другое дело – то *неназываемое*, что скрывается за множеством таких различий, делая их возможными. Если само определение Европы (и/или России) зависит от неназываемого, от того, что лежит в основе любого из предъявляемых различий, то оно неинтегрируемо принципиально и может лечь в основу чего-то вечного, будь-то Европа или Россия. Скорее всего эти понятия-близнецы могут функционировать одновременно; одно зеркально отражает другое.

Кюстин называл русских «нацией подражателей», перенимавшей у европейцев все, что только возможно, но не ставшей от этого на них похожей; на русской почве заимствования получают радикально иной смысл, отличный от смысла оригинала.

Октябрьская революция радикально изменила это положение дел: из подражателя Советская Россия становится объектом для подражания, «авангардом всего прогрессивного человечества». «...из Москвы, – писал Виктор Клемперер, – исходит теперь чистейшее европейское мышление».<sup>3</sup> Сколько подобных фраз было написано в Европе между 1917 и 1956 годом!

В этом плане постсоветский период является регрессией к петровскому: Россия утрачивает качество образца, ею вновь заимствуется из Европы демократия и рыночная экономика.

Начиная с середины XIX века граница проводилась не только с европейской, но и с русской стороны. Если верить Достоевскому, то в Европе выветрилось «братское начало»,

органически присущее русскому народу; на смену ему пришел индивидуализм, «начало особняка»<sup>4</sup>.

Темы европейского материализма и бездуховности стали фирменными блюдами евразийства, зародившегося в среде русской эмиграции в 20-е годы. «...на Западе, – писал один из евразийцев, – религия не влияет на жизнь и не трогает сердца и души своих последователей, ибо они всецело и без остатка поглощены только своей материальной культурой».<sup>5</sup> И далее: «Начиная с Петра Великого, эта азиатская природа русского народа была покрыта легким слоем европеизма, но Ленин, хотя он был духовным учеником Запада, весь этот слой с налетом Европы безжалостно срезал...»<sup>6</sup> Революция трактуется здесь не как реализация марксистской утопии, а как возвращение России к своей подлинной азиатской сущности после двух веков «романо-германского ига». Н. Трубецкому, Р. Якобсону, Д. Савицкому и другим столпам первоначального евразийства Европа видится как чем-то радикально отличным от Евразии. «Евразийцам, – замечает швейцарский исследователь Патрик Серио, – очень хотелось сделать Россию будущей предводительницей угнетенных народов Евразии (новое имя русской империи) как неделимого, естественного, органического целого».<sup>7</sup> Точно определить границы этого целого они не могли; скорее доминировала априорная убежденность, что подобное целое существует и что оно ограничивает другое целое, романо-германскую Европу. Здесь важно не столько то, где эта граница проходит, сколько сама во многом бессознательная, потребность в границе, неумение интеллектуально без нее обходиться. Любая называемая евразийцами граница, как и в случае Кюстина, случайна по сравнению с сильнейшей потребностью в освобождении от ненавистного «романо-германского ига», потребностью в границе.

Русские сами создают и культивируют свой шибболет, стремясь определить себя в противовес Европе как носителей принципиально иной идентичности. Но в самом названии Евразия стыдливо закодирована не только Азия, но и Европа; при всем кажущемся радикализме оно служит лишь географической констатацией.

Я много раз переезжал через Уральские горы и могу засвидетельствовать, что между Пермью и Новосибирском в культурном плане не происходит ничего такого, что позволяло бы отнести первую к Европе, а второй – к Азии. И так до самого Владивостока.

Для Кюстина символом того, что отделяет Россию от Европы служил Петербург, город, построенный по прихоти одного человека, чья архитектура не соответствует не только природе царской власти, но и суровому русскому климату. Попытки деспотизма воздвигнуть европейские интерьеры обречены на неудачу, так как они не соответствуют местным условиям. Но в чем же состоит несводимая оригинальность России, что соответствует местным условиям читателя от маркиза так и не узнали.

Современный евразиец Александр Дугин считает, что «цивилизационные коды» России и Европы изначально враждебны один другому, для них нет и не может быть общего знаменателя. «С IX века применительно к Византии до XXI века применительно к «демократической» России мы видим со стороны Запада приблизительно одно и то же *устойчиво негативное* отношение, которое оформляется в зависимости от мировоззренческих установок, свойственных каждой эпохе».<sup>8</sup> При таком подходе любая попытка России подражать Европе обречена оцениваться как отказ от собственной сущности. О самой этой сущности мы узнаем от Дугина не больше, чем от Кюстина: она определяется не сама по себе, а через зеркальное противопоставление Европе, т.е. через известнейшую фигуру тождества. Другими словами, в основе провозглашаемого несводимым различия лежит скрытое, необсуждаемое тождество, которое и делает различие несводимым. Весь петербургский период русской истории определяется Дугиным как «романо-германское иго»<sup>9</sup>; а Петербург – как Троянский конь Европы в России (в противоположность Москве как «евразийской столице»). При этом исчезает кюстиновская проблематика специфически русского характера этого подражания, не приближающего имитаторов к оригиналу, а, напротив, отдаляющего от него, подчеркивающего различие на фоне предъявляемого тождества. По Кюстину, романо-германское начало не является игом изначально, но *становится* таковым в условиях царского деспотизма, будучи перенесено на чуждую ему почву.

Видеть, подобно Дугину, в российской империи простое «издание Национальной Идеи для верхов»<sup>10</sup> – значит до неузнаваемости упрощать целых два века русской истории.

На оставшийся без ответа вопрос Кюстина своеобразно попытался ответить Достоевский: оригинальность русского народа в том, что он превращает все – в том числе чрезмер-

ность телесных наказаний и другие виды насилия – в «братское начало»<sup>11</sup>. Кюстин, конечно, не принял бы такой ответ: порождаемый насилием коллективизм был как раз тем, что крайне раздражало его в России и ему он отказывал в оригинальности, считая его пережитком варварства. Достоевского же в Париже, напротив, шокировали прежде всего тонкие, внешне незаметные формы надзора (по его выражению, «шпионства»). Особо писателя поразило то, с какой тщательностью его осмотрела пожилая и милая супружеская пара, владельцы гостиницы, в которой он остановился: все эти данные они должны были передать полиции.

Надзор для европейцев был важнейшим фактором свободы, формирующейся в пространствах, которые Мишель Фуко много позже назовет «дисциплинарными». Максимум прав признается за телами, вышколенными в этих пространствах; предсказуемость их поведения делает брутальность излишней. «Братские» же тела, напротив, еще необузданы и поэтому нуждаются в усмирении и прямом наказании.

Но преимущества свободы и братства нельзя объединить, так как они являются результатами работы принципиально разных властных механизмов. Эта проблема значима до сих пор. Современные российские социологи не обнаружили кроме уровня и способа потребления «прочих значимых признаков, по которым россияне были бы склонны объединять себя с другими россиянами» – пишет главный редактор журнала «Отечественные записки». И потом как бы невзначай замечает: «Разве что любого из них может стукнуть милиционер на улице».<sup>12</sup> Т.е. кроме потребления моих сограждан объединяет то, что каждый из них, как и во времена Кюстина, может подвергнуться насилию со стороны представителя власти.

Когда нынешние евразийцы рассуждают о «московской идее», они обходят эту неудобную тему; в результате исчезает *драма* особой принадлежности России к Европе, питавшая русскую литературную классику XIX века. Европа играет в их текстах роль изначально враждебного начала; Россия определяется то как не-Европа, то как анти-Европа. Получается, что ничто европейское не может произрастать на российской почве спонтанно, органически, по внутренним причинам, не будучи пятой колонной самой Европы. Их представления о России как о некоем евразийском острове нереалистичны; в отличие от СССР, зависимость нынешней России от внешнего мира не ниже, чем у многих других

европейских стран. И русская культура обладает оригинальностью лишь в европейском контексте.

По сути отделиться от Европы стремится не Россия, а конкретное интеллектуальное сообщество, имеющее единомышленников в разных странах; не Россия, а евразийские идеи нуждаются в четкой границе. Граница проходит *внутри* тех, кто ее проводит; вне их воли к границе никакой границы не существует.

Есть ли что-то такое, что делает Европу Европой поверх большого числа составляющих ее языков и культур? Если нечто подобное и существует, то оно не может быть названо. Любой же из поддающихся называнию дифференциальных признаков, повторяю, условен, возник в определенное время и обречен исчезнуть. Не менее подвижной и условной структурой является Россия. Она не похожа на свои прошлые подобия. Как только какой-то бывший фрагмент Российской империи – будь-то Финляндия, Польша, Литва, Латвия или Эстония – становится частью Европы, для этого задним числом придумывается множество объяснений. Когда-нибудь, причем относительно скоро, что-то подобное может произойти и с Россией. Да, для этого потребуются переосмыслить понятие Европы, но разве оно не переосмысливается уже сейчас, когда в нее входят десять новых членов?

Ограниченность воображения современных политиков не должна служить «естественными» границами Европы – ведь без изменения представления о границах и нынешнее расширение было бы невозможным. Хотя мы еще не научились жить в мире без границ, мы не можем не замечать, что границы постоянно меняются; причем немислимые для предыдущего поколения изменения сразу же объявляются «естественными», а будущие (часто уже назревшие) сдвиги – маловероятными, или вообще невозможными.

В последнее время значительно большее, чем Россия, воздействие на формирование понятия Европы, стали оказывать США; еще недавно они считались простым ответвлением общеевропейской культуры, а теперь протезируют «новой» Европе против «старой». Мы присутствуем при невиданно быстром переопределении границ между расширяющимся Первым и исчезнувшим Вторым миром. Большой Европе предстоит интегрировать недавнее социалистическое прошлое своих новых членов в условиях, когда крупнейшим игроком на политической сцене остаются США, в свою

очередь интегрирующие Европу (по меньшей мере ее значительную часть) в свои глобальные политические планы.

В новом контексте традиционные различия между Россией и Европой не смотрятся столь несводимыми, как того хотелось бы идеологам, извлекающим из их фиктивной «вечности» интеллектуальный капитал. Радикальное, непреодолимое отличие России от Европы за несколько веков так и не было названо; оно культивируется с обеих сторон как неназываемое, а то, что вместо него называется, поддается деконструкции и уже много раз деконструировалось. Никакого русского шибболета не существует ни с одной, ни с другой стороны; называемые различия давно уже стали предсказуемыми и зеркальными. Если Европа считает себя островом, то что делать с ее важнейшей сухопутной границей? И почему она проходит на Урале, а не на Дальнем Востоке? Да, многим в Европе сейчас трудно представить, что этот, еще недавно эксклюзивный, западный клуб будет граничить с Японией, Китаем и США, но разве само понятие единой Европы не является относительно новым? И разве не смелым шагом было бы включение в нее мусульманской Турции?

Думаю, что важнейшую внутриевропейскую границу ждет похожая судьба – она утратит свое право на существования раньше, чем мы думаем.

В 30-е годы современник русских евразийцев: Н. Трубецкого, Д. Савицкого и других, Поль Валери, также задавался вопросом о том, что такое Европа: «небольшой мыс азиатского континента» или «особо ценная часть земного универсума, жемчужина шара, мозг обширного тела» («la partie precieuse de l'univers terrestre, la perle de la sphere, le cerveau d'un vaste corps»)?<sup>13</sup> Его также волновало, останется ли Европа и в будущем географически небольшим мысом Азии или же особым, «привилегированным» местом, где было совершено огромное большинство открытий, создано гигантское число произведений искусства и культуры и т.д.? Короче, Валери наделял Европу той же сверхценностью, какой евразийцы наделяли Евразию: в его понимании она становилась мозгом обширного, немыслящего тела Азии, в то время как у евразийцев Европа – лишенная духовности, материалистическая цивилизация, которой противостоит евразийская духовность.



Не настало ли время отказаться от этого патетического противопоставления? Не является ли Европа и небольшим западным мысом Евразии, и колыбелью великой культуры (правильнее сказать: целого веера культур), которые, однако, не стоит ставить над всеми остальными? И не окажется ли в таком случае Евразия не более как оригинальным продолжением этого веера культур, а не привилегированным очагом всяческой духовности?

Не будем также забывать, что любая культура определяется не тождеством, а отличием от себя самой; ее идентичность – это идентичность внутренне различного, не равного себе. И по сравнению с этим необходимым внутренним различием любой шибболет, накладываемый на нее извне, рискует оказаться временным и преодолимым.

*Москва, июнь 2003 г.*

### *Примечания*

- 1 Шибболет – слово из древнееврейского языка, означающее «колос». В Ветхом Завете повествуется о том, что эфраимляне не могли правильно его произнести и тем самым выдавали свое происхождение. Еще одно значение слова шибболет: решающее испытание, проверка, позволяющая судить о способностях того или иного человека. (Le Petit Robert, P., Société du Nouveau Littree, 1979, p. 1776.)
- 2 Кюстин, Астольф де. Россия в 1939 году, М., Издательство имени Сабашниковых, 1996, том 1, с. 177.
- 3 Klemperer Viktor, LTI. Notizbuch eines Philologen, Leipzig, 1990., S. 176.
- 4 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений, Ленинград, «Наука», 1973, том 5, с. 79.
- 5 Хара-Даван, Эренжен. Чингис-хан как полководец и его наследие, Элиста, Калмыкское книжное издательство, 1991, с.195.
- 6 Там же, с. 203.
- 7 Патрик Серио. Структура и целостность. Об интеллектуальных истоках структурализма в Центральной и Восточной Европе. 1920-30-е гг., М., Языки славянской культуры, 2001, с. 174.
- 8 Александр Дугин. Эволюция национальной идеи Руси (России). – «Отечественные записки», №3, 2003, с.125.
- 9 Там же, с. 134.
- 10 Там же, с. 135.
- 11 Достоевский... с. 79-81.
- 12 Татьяна Малкина. Черный квадрат: каждый рисует свое. – «Отечественные записки», №3, 2003, с. 8.
- 13 Цит. по: Jacques Derrida. L'autre cap, P., Les Editions de Minuit, 1991, p. 27.